

## ПОЗДНО

*Что на́ сердце? Любовь, вина и дыба.  
И.Лиснянская*

*Упрямая, жду, что случится,  
как в песне, случится со мной...  
А.Ахматова*

Ты умирал на пике декабря.  
Зачем мне Бог, не знавший милосердья?  
И это сердце, бившееся зря,  
раз не могла отнять тебя у смерти?

Часы спешили, учащая бег,  
и обещая обновленье судеб.  
А снег летел в грядущее, в тот век,  
где нас с тобой вдвоём уже не будет.

Любить в прошедшем времени нельзя.  
Как примириться с этой дырою,  
в которую всё сыпется, скользя,  
лишь только человек глаза откроет?!

Застыли стрелки в замкнутом кругу.  
Как будто навсегда заледенели.  
Я это помнить больше не могу,  
блуждая здесь среди людей, теней ли.

Глазами звёзд глядишь над головой.  
Стволы деревьев — как чей-то мёртвый остов.  
И сквозь меня могильною травой  
растут слова, пронизывая остро.



Отец, эти строки — тебе. Вспоминаются какие-то картинки детства, никому, может быть, кроме меня, неинтересные, но такие дорогие и близкие сердцу. Как мы с тобой и Лёвкой собираемся по воскресеньям на Волгу. "Вместе с Нанкой — на Сазанку!" — бодро выкрикивал ты, как речёвку, снаряжаясь в путь-дорогу. Сохранилась фотокарточка, где мы в битком набитой лодке — такие перевозили тогда на другой берег. Но чаще переправлялись на парходике. Это ни с чем не сравнимое ощущение речной свежести, пенистых волн из-под винта, неоглядных волжских далей навсегда у меня слилось с запахом детства.



Парходик у причала.  
Я пристроюсь на корме.  
Жизнь — у самого начала.  
Всё грядущее — во тьме.

Спозаранку, спозаранку,  
когда спит ещё весь дом,  
на Сазанку, на Сазанку  
мы по Волге поплывём.

Кудри треплет свежий ветер,  
волны пенятся внизу.  
Через три десятилетия  
я всё это пронесу.

Как недолго, как недолго  
до конца того пути...  
В эту Волгу, нашу Волгу  
мне уж дважды не войти.

Помню, как ты носился с первыми моими стихами: какой-то сентиментальный "Цветочек", душераздирающее "Смерть голубя" и совсем уж несусветное "Пришла весна, а он... слепой". Как ты гордился этими глупыми детскими виршами — читал на работе сослуживцам, друзьям, посылал родственникам, перепечатывал, переплетал. Ты постоянно поддерживал во мне этот робкий огонёк творчества, раздувал его, пестовал, холил. Оберегал от меня же самой, от моего скепсиса, от неверия в себя.

И лекции мои — от тебя. Мне было лет семь, когда ты читал над моей кроватью своего "Есенина", "Маяковского", я была первым твоим слушателем. Это ты уговорил меня прочесть впервые "Высоцкий глазами Марины Влади" в 1987 году в планетарии, познакомив с Бубенцовой. С этого и началась моя лекционная эпопея, "триумфальное шествие", как ты выразился в одном из поздравлений. Всем лучшим в себе я обязана тебе. Всем главным, чем живу.

Когда вы расстались с мамой, я всегда держала её сторону, с детства помня её рассказы о своих обидах, ценя всё, что она сделала для меня ценой самоотверженного труда и невероятных усилий: квартира, мебель, еда, одежда — всё было добыто ею, все материальные и бытовые проблемы решались ей единолично. А ты считался в семье эгоистом, бездельником, думающем не о том, где побольше заработать, а о книжках (тут мама была солидарна с Фамусовым: "собрать все книги бы да сжечь"), о шахматах, лекциях, фельетонах, словом, занимался пустяками, а не делом. Но ты давал мне то, что называют хлебом души. С детства читал мне вслух Маршака, Пушкина, Есенина, Чехова, собрал огромную библиотеку классики. И твои ценности вопреки всему во мне побеждали.

Потом родился Стасик. Я ходила к тебе в твою новую семью, играла с ним, нянчила, забирала вместе с тобой из садика на Провиантской, того же, куда когда-то водил меня ты. Хотя замечала косые взгляды твоей жены, тайно ревновавшей тебя ко мне. Однажды эта ревность прорвалась наружу. Когда я пришла попросить на месяц чемодан (наш общий когда-то) — мне не с чем было поехать в пионерлагерь, — она вдруг как фурия налетела на меня с криком: "Не смей приходить сюда с поручениями своей мамы!" Я в слезах вылетела на лестницу, а ты, ещё более потрясённый, чем я, ушёл со мной, хлопнув дверью, и купил мне в универмаге новый чемодан. И долго говорил какие-то утешающие и оправдывающие её слова.

С этого дня у вас с ней всё пошло наперекосяк. Ты много раз говорил мне об этом. Но я больше не приходила к тебе — не могла простить обиды. Ты приходил ко мне сам. Смущённо топтался в коридоре, неловко совал деньги, с трудом утаённые от жены. Я, не глядя, кидала их небрежно бабушке, всем своим видом презирая и эти деньги, и твои тайные вылазки ко мне. Давала понять, что не очень-то в них нуждаюсь. Бабушка шептала мне в ухо: "Покорми отца!" И добавляла с укором: "Он же тебе отец!" Я недоумённо смотрела на неё: так она за кого — за него или за маму? Такая вот была дура-максималистка.

Однажды ты позвонил и сказал, что жена уехала в командировку и ты со

Стасиком очень ждёшь меня в гости. Я что-то неопределённо ответила, но для себя решила, что не пойду: как это, тайком, пока её нет, прятаться, точно вор — гордость во мне возмущалась. А ты так ждал! Так мечтал, чтоб мы с ним встретились, подружились, хотел что-то наладить, исправить. Раза четыре звонил: "Ну ты придёшь? Не забыла? Мы тебя ждём!" Такая мольба была у тебя в голосе. Боже, как я жалею, что тогда не пришла! Был бы у меня брат. Мы выросли чужими. Познакомились через много лет, когда уже стали взрослыми.

Брат мой, близкий и чужой,  
боль души моей живая,  
та, что, как железо ржой,  
гложет, не переставая.

Не отрезанный ломоть,  
не слетевший с ветки листик, —  
так саднит пустая плоть  
ампутированной кисти.

Сожаления и сны,  
память детства, крови, тела, —  
для чего вы мне даны?  
Может, надо, чтоб болело?  
Чтоб зола моей вины  
в очаге потухшем тлела.

Где-то я читала про буддийский ад. Самая страшная казнь, самое жуткое наказание: человеку много раз подряд прокручивают его собственную жизнь, бесконечно повторяя страницы неиспользованных возможностей. С этим адом внутри я живу уже скоро год — столько прошло со дня твоей смерти.

У декабря твои виски седые —  
проигранные с временем бои.  
А у небес — глаза немолодые,  
похожие до боли на твои.

Не отыскать мне там тебя, как Герде...  
Кого молить, как в сказке: "отдыши!"?  
Никто не знает день грядущей смерти.  
Я знаю смертный день своей души.

Он наступил, когда необратимо  
ты растворился в тёмной глубине.

Твоя могила здесь конспиративна.  
Тебя там нет. Ты погребён во мне.

А жизнь души осталась там, за кромкой  
другого века, в дымке голубой,  
и обернулась мукою негромкой,  
вспоминаньем пестующей боль.

Она сейчас всего лишь оболочка,  
как будто я сама себе лишь снюсь,  
и жизнь — отсрочка, только проволочка  
до той поры, пока соединюсь

с тобой. С самой собой. Не нужен повод  
отныне, чтобы плакать в тишине.  
И — сквозь ночей спускающийся полог:  
"Прощай, прощай и помни обо мне!"

\*\*\*

Память, закоулки обнажи.  
Ты пришёл... В своё садишься кресло.  
Просишь наточить тебе ножи.  
Всё, как было. Всё опять воскресло.

Вот тебе я супу налила,  
вот пирог разрежала на части...  
Как же я тогда не поняла,  
что вот это-то и было счастье!

Между нами пролегли века.  
Ты остался навсегда в двадцатом,  
в уголке гранитного бруска,  
датами серебряными сжатым.

Хорошо наточены ножи.  
Не заметишь, как уже в крови ты...  
Ты не выжил. Я не в силах жить.  
Счёт ноль-ноль. И мы с тобою квиты.

Я с тобою заживо живу,  
призрак твой пою своею кровью.  
И люблю во сне и наяву  
самую бессмертную любовью.

Когда кажется, что я сейчас захлебнусь, утону в этих воспоминаниях, в этих саднящих мыслях, когда уже не хватает воздуха жить, — я хватаюсь за ручку, как за соломинку, — за призрачное неверное слово. Шепчу, пишу, выдираю из себя эти мокрые от слёз слова, и как будто легче, как будто то, что названо — уже и не смертельно, уже и не страдание, а что-то бумажное, вбирающее, как промокашка, в себя всю муку. Но эта боль бумерангом возвращается туда, откуда я её исторгла. Словно под угрозой пытки, точно на дыбе я говорю, выдаю, выставляю напоказ всё, что боится чужих глаз, выворачиваюсь наизнанку, не утаив ничего — ни сна, ни вздоха, ни тайного помысла. Как будто кто-то с ножом к горлу, ломая кости, хрипит в лицо: "Говори, а то хуже будет, говори всё, как на духу!" И говорю, задыхаясь, спотыкаясь на каждом слове, выбиваясь из сил, чтобы потом, может, услышать в ответ недоумённое: "Ну к чему это? Кто её просит? Ведь это всё равно что выйти голой на улицу". Да, выхожу, только вместе с одеждой кожу с костей сдираю.

Как не хватает мне отца,  
его фигуры и лица,

его видавшей виды шляпы  
и слова ласкового "папа".

Парки расплетается клубок.  
Тычется комочек в левый бок.

Этой нити вечно виться, длиться.  
Прежних дней струится вереница...

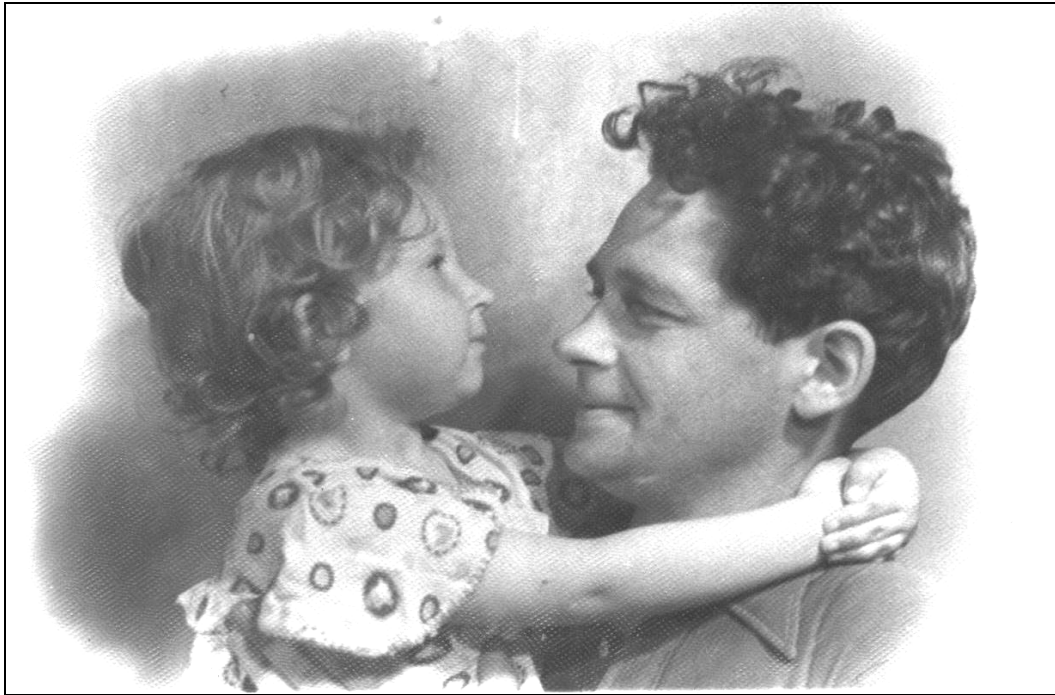
Снег, идущий миллионы лет,  
миллионы раз мне скажет "нет".

Тысячи безжизненных снежинок  
мне напомнят тысячи ошибок,

что поправить нам уже нельзя.  
Я иду, по памяти скользя.

Но сквозь лёд крошечной мерзлоты  
вновь упрямо протупаешь ты,

как черты на мокром фотоснимке,  
где с тобой лицом к лицу в обнимку.



Ты, облетевший календарь,  
тем днём опять меня ударь,

когда лежал, объятый тьмой,  
глухонемой, уже не мой...

Задую памяти свечу.  
Я больше помнить не хочу!

Но опять встаёт свеченье дней,  
где ты чем далече, тем родней...

И, сердце стиснувши в горсти,  
хочу хоть что-нибудь спасти

из людоедской пасти времени  
и унести с собой из темени.

Ты превратился в скрип дверной,  
в стук веток, ветра вой ночной,

в звезды вечерней слабый свет,  
в далёкий чей-то силуэт,

в скупую горсточку кутьи,  
в твои заметки и статьи,

в волну на волжском берегу,  
в сиротство, жалость и тоску...

Январь мне с каждым годом всё страшней.  
А ты мне всё нужнее и нужней.

Известие о смерти лживо.  
Ты жив. Всё помнится так живо.

Всё, что во мне тоскует и грустит  
и что скорее жизнь мою скостит.

Я приду к тебе подземным ходом,  
приплыву по Волге пароходом.

Подземный ход —  
под зимний лёд,  
под сотни дней,  
замёрзших вод.  
Вчерашний снег,  
вчерашний день,  
что зазвенит —  
едва задень,  
и отзовется эхом вдаль  
с ума сошедший календарь.

А память всё прокручивает киноленту назад, туда, где прошлогодний снег, где мы готовимся к Новому году, к маминому дню рождения в этот день, где ещё целых две недели до твоих мученических глаз, до неожиданного горя.

"Меньше всего любви достаётся самым нашим любимым людям", — эти слова Дольский написал в 20 лет, ещё не познав на себе этой истины, чисто интуитивно. До чего это так. Помню, как обижалась, что ты не принял моей книжки о собаках, не пошёл даже на презентацию её, чего никогда прежде не было. "Сколько времени ты отдаёшь собакам", — говорил ты с непонятным мне упрёком, а я объясняла, что собаки в отличие от людей себе помочь не могут, что люди часто сами виноваты в том, что им плохо. Только сейчас мне открылось: когда ты так говорил, ты недоговаривал: "А мне? А для меня ты не находишь времени". Вот что ты думал тогда, когда с упрёком глядел на меня, а я не понимала. Ты просил внимания, тепла, а я не услышала. Ты никогда ни о чём меня не просил, и я делала вывод: значит, не нуждаешься. А ты просто хотел,



чтобы я сама, без просьбы, по велению сердца... На день рождения подарил мне книгу Гурченко. Я ещё удивилась — почему Гурченко? Обычно ты дарил мне писателей, поэтов. А сейчас поняла: наверное, потому, что она с такой нежностью пишет об отце. Ты так ждал от меня этих слов. И ушёл, не дождавшись.

В недоступное измерение  
ты ушёл, от земли отчалив,  
и каким-то глубинным зрением  
я гляжу на тебя, отчаясь.

В царстве сна, в государстве памяти  
наши встречи с тобою грустны.  
Давит на сердце тяжесть каменная,  
мне не выбраться из-под груза.

Фотокарточка на надгробии.  
Взгляд невыспавшийся, усталый.  
Отраженье твоё, подобие  
на земле без тебя осталось.

Помню, ты спрашивал меня, где находится аптека, что на Вишнёвой, я терпеливо объясняла, а ты делал вид, что не понимаешь, и звал настойчиво: "Пойдём вместе?" Я удивлялась твоей непонятливости и объясняла снова, а это не ты, а я не догадывалась: ты просто, наверное, хотел со мной пройти, может, поговорить наедине, аптека была лишь предлогом. Как же мне всё это сейчас ясно стало. И сколько ушло таких неиспользованных возможностей — всё что-то мешало, всё что-то казалось важнее этого, общения с тобой. "Жизнь прошла — как не было. Не поговорили". Я ведь, в сущности, ничего о тебе не знаю. Как ты жил до меня? Как воевал? Каким было твоё детство? "И про отца родного своего мы, зная всё, не знаем ничего". Как это у Маяковского? — "Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши". Мне раньше претили эти строки, казались утрированными, театрально-нарочитыми, а теперь я так их понимаю, и самой хочется что есть силы кусать локти, ломать руки, пальцы, всё что угодно, чтобы унять, заглушить эту боль внутри, этот голод любви, этот буддийский ад совести.

Этот месяц, полный тьмы,  
полный холода и горя,  
где с тобой расстались мы,  
тишины не переспоря...

Как живётся там тебе,  
за седыми небесами,  
в муке ль, радости, мольбе —  
сны мои расскажут сами.

Так же там ты одинок ль,  
как при жизни был со мною?  
В перевёрнутый бинокль  
вижу давнее, родное.

И, с тобою говоря,  
вижу то ли явь, то ль сны я:  
смерти мёртвые моря,  
чёрный ход в миры иные...

Боль родства пронзит иглой,  
но не сшить, как ни старалась,  
то, что разорвало мглой,  
что, как связь времён, порвалось.

Шрам от месяца кривой —  
словно рана ножевая.  
Не проходит ничего.  
Ничего не заживает.

Помню твой голос на пластинке — звуковое письмо, которое ты прислал мне когда-то из Ялты. "Здравствуй, Наташенька. Как ты живёшь? Что подельваешь? Наверное, танцуешь свой танец маленьких лебедей?" Мне тогда было лет шесть, и я ходила в балетную школу. Как жалко, что пропала эта пластинка. У меня не осталось твоего голоса. На магнитофон я не догадалась тебя записать. Только на видеоплёнке с презентацией моей первой книжки: там есть кадр, где ты — крупным планом, улыбаешься, слушая мои стихи.

Как-то у тебя вырвалось с какой-то потаённой болью, с недоумением: "Но почему?! Ведь никогда пальцем не тронул..." Как будто хотел сказать: "Так за что же? Почему ты меня не любишь?" Но не сказал. А я люблю! Но только теперь это поняла. Слишком поздно.

Зову тебя. Ау! — кричу. — Алё!  
Невыносима тяжесть опозданий,  
повисших между небом и землёй  
невыполненных ангельских заданий.

Пути Господни, происки планет,  
всё говорило: не бывает чуда.  
Огромное и каменное НЕТ  
тысячекратно множилось повсюду.

Ты слышишь, слышишь? Я тебя люблю! —  
шепчу на неизведанном наречьи,  
косноязычно, словно во хмелю,  
и Господу, и Дьяволу переча.

Луна звучит высоко нотой "си",  
но ничего под ней уже не светит.  
О кто-нибудь, помилуй и спаси.  
Как нет тебя! Как я одна на свете.

Как ты ценил эти крупички, знаки внимания. Рубашку, которую я тебе подарила, носил, не снимая. Надпись на моей книжке: "Папе, родившему меня дважды, для жизни и для поэзии" всем показывал, держал на видном месте. Под стеклом хранил мои фотографии. Как легко мне было подарить тебе радость и как скупа я была на это. Почему? Инерция, привычка, занятость. Не хотела лицемерить. С детства считала тебя виноватым, и так и вошло это в обиход, въелось в ткань отношений. Я не видела, не понимала, что ты мучился, что всё делал для того, чтобы искупить. Ты всегда жил моими делами, интересами, подробно разбирал каждую лекцию, писал для меня рецензии на мои книжки. Делал выписки из книг, перепечатывал и дарил с заголовками: "Тайная мудрость человеческого общения", "Принципы мудрого отношения к жизни". Я небрежно откладывала их в сторону ("потом") и забывала. Ты так огорчался, видя это. Но никогда не говорил.

Вся я родом из нашего общего прошлого,  
из тебя выросшая, тобою проросшая.  
Но глядят на меня небеса пустогазо,  
и ни внять, ни унять одинокого гласа.

То, что было отброшено, запорошено —  
то теперь всего ближе, всего дороже мне.  
Как же жить мне с этой зияющей брешью,  
не обнявшей, не выплакавшей, не обретшей?

Уж зима, как мои, твои волосы выбелила,  
а не сгладилось, не забылось, не выболело.  
И зависли бессильно меж бездной и высью  
запоздалых стихов безответные письма.

Когда ты вышел на презентации в библиотеке с букетом цветов и стал хвалить и читать мои детские стихи, а потом обнял и поцеловал на глазах у всех — как же я злилась! Мне казалось, что ты этими дурацкими детскими стихами снизил, так сказать, уровень вечера, и вообще, что за бестактность — защищать от нападок злопыхателей, я сама могу постоять за себя и не нуждаюсь в адвокатах! Всё это я в сердцах тебе потом высказала.

Ты любил меня, любил мои стихи — те, детские, ещё больше, потому что я писала их при тебе, тревожился, переживал за меня. Какая же я была чёрствая дура. Я всё принимала как должное, просто не замечая, как воздух. А теперь воздух перекрыт, и я задыхаюсь, и корчусь, как рыба, выброшенная на берег из своей стихии. Меня давит тяжесть вины и боль непоправимости, невозвратности, непощения. Леденящий ужас этого неумолимого беспощадного слова "ПОЗДНО".

Всё умерло. И только память  
прокручивает ленту дней.  
О, как она умеет ранить,  
высвечивая, что больней.

Оно всегда, всегда со мною, —  
в груди залитое свинцом,  
твоё прощальное, родное,  
твоё смертельное лицо.

И, равнодушны, как природа,  
чужие лица плыли прочь,  
когда ты так бесповоротно,  
непоправимо канул в ночь.

О, если бы какой-то выход, —  
шальная мысль явилась мне —  
пусть это бред, безумье, прихоть, —  
счастливый лаз в глухой стене,

забитый наскоро, небрежно  
заложённый кривой пролом,  
куда влетает ангел нежный  
и аист шелестит крылом...

О, если б время заблудилось,  
споткнулось, сбилось бы с пути,  
как Божья шалость или милость,  
и где-то там, в конце пути,

в какой-то путанице рейсов —  
вагон забытый, сам не свой,  
который бы умчал по рельсам  
туда, где ты ещё живой...

И окликают нас могилы,  
и обступают всё тесней.  
Я снова слышу голос милый  
и вижу словно в полусне:

бессмертным символом разлуки,  
весь мир навеки породня, —  
крестов раскинутые руки,  
которым некого обнять.



Твой последний звонок по телефону. Каким-то преувеличенно весёлым и беспечным голосом ты сообщил, что ложишься в больницу — подлечить желудок, что это всего на несколько дней и ходить к тебе не надо, так как к Новому году тебя уже выпишут, и долго рассказывал, как тебе делали томограмму, как возился с тобой профессор ("столько времени на меня потратил", — расстроганно вспоминал ты). Ты рассказывал непривычно долго, говорил какие-то случайные, незначащие слова, как в полубреду, говорил, говорил ("у тебя есть время?"), словно знал, чувствовал, что этот разговор — последний, и оттягивал как мог наше прощанье. А в конце с горделивой радостью сообщил, что закончил свою работу о Чехове. "Принести?" — робко спросил ты. — "Ну зачем сейчас, после больницы тогда уж", — сказала я (через

два дня у меня была лекция и всё равно тогда некогда было её читать). "Ну хорошо, после", — упавшим голосом согласился ты.

После лекции я поехала к тебе. Сначала встретила с врачами. Все трое утверждали, что у тебя нет ничего серьёзного, но эндоскопию тебе делать нельзя из-за подозрения на инфаркт, который тоже, в общем, ещё под вопросом. Почти успокоенная, я зашла к тебе в палату и... прямо с порога натолкнулась на твои глаза. Они были такие мученически-затравленные, отрешённо-одинокие, выцветше-голубые и как будто не узнающие, устремлённые прямо на меня, но обращённые вовнутрь. Меня пронзил ужас: каким-то спинным мозгом я почувствовала их обречённость, их уходящесть, смертельность и поняла: это конец. Но тут же встряхнулась, прогоняя страшные мысли, заставила себя говорить таким же преувеличенно весёлым тоном, ведь врачи же говорили — ничего страшного. Почему я поверила их словам, а не этим глазам!

Когда диагноз-приговор был наконец произнесён, было уже поздно что-либо делать. Ты не хотел мучиться и выпил 17 таблеток реланиума, но тебя откачали и заставили мучиться по полной программе. Ты жил после операции ещё три дня. А у меня был жуткий грипп, и я не могла прийти к тебе, боясь заразить. Я опоздала на несколько часов. Мы даже не простились.

Как поздно я выучилась любить.  
Не вылечиться, не умереть, не забыть.  
И кто разрешит безбилетный проезд  
в страну из руин и разверзшихся бездн?

Как ни затыкай эти дыры платком —  
повсюду нездешним несёт холодком.  
Устала писать я стихи в никуда,  
которые ты не прочтёшь никогда.

Устала я кликать на том берегу  
и каждое лыко ставить в строку.  
Я так не могу. И не так не могу.  
Беззвучен мой голос, и сердце в снегу.

Когда Давид был у тебя в последний раз, он спросил, чего бы тебе сейчас хотелось. Ты ответил, что больше всего тебе бы хотелось, чтобы "работа о Чехове попала к вам". "К тем, кто бы смог оценить", — добавил ты чуть ли не с тоской. "Вот выйдете и сами принесёте", — успокоил тебя Давид.

Я читаю эту работу, "Человек с молоточком", твой любовно и пристально выписанный портрет Чехова, который ты писал уже на последней черте, преодолевая боль. Читаю и нахожу поразительное сходство его с тобой, с твоей жизнью. "*Самообладание, целомудренность души, страдающей про себя, не на людях*", — это ведь про тебя. "*Он всю жизнь умирал. Но не жаловался, других*

*своей болезнью не изводил, не стеснял и, не изменяя своему юмору, спокойно-печальными глазами смотрел в глаза подходившей смерти..." — и это тоже. "Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах..." Я никогда не узнаю, увидел ли ты небо в алмазах, услышал ли пение ангелов, кто уходит туда — уносит с собой великую тайну. И вдруг — слова, знакомые ещё со школьных лет, но по-новому теперь увиденные, пронзившие до дрожи: "И со жгучей болью в сердце понял он, как ненужно и мелко было всё то, что мешало им любить друг друга — но уже поздно, поздно, и через мгновение поезд увезёт его далеко, умчит навеки..."*

Открыло утро полог голубой.  
А у меня теперь одно мерило:  
пространство улыбнулось мне тобой,  
окликнуло тобой, заговорило.

Ты где-то там, в лазоревом краю,  
но время ничего ещё не стёрло.  
Дома сжимают улицу твою  
и мне до боли стискивают горло.

Так жадно рыщет памяти радар,  
что, кажется, протянешь руку — вот ты...  
В шкафу хранится твой предсмертный дар —  
последняя — о Чехове — работа.

Как долго то, чем жив был и храним,  
моей души ослепшей не касалось.  
"О, как ничтожно было то, что им  
любить мешало..." — то о нас писалось!

Упрямо, в ту же реку, сквозь года  
к тебе стремиться снами и стихами...  
О, если б знать тогда, что навсегда  
твои шаги по лестнице стихали.

Однажды увидела тебя во сне. Ты сказал: "Мне ничего не надо от тебя, ничего". Я проснулась и поняла: я не могу с этим жить. Что мне делать? Не могу. Хорошо верующим: верят, что там — ещё одна жизнь, где встретишься с теми, кого любишь. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете". Я знаю, что там ничего нет. Я никогда не встречу его и ничего ему уже не скажу. И мне будет теперь так же холодно и больно жить, как было ему. Он ушёл, не дождавшись от меня того, чего, может, ждал всю жизнь. И я всю жизнь буду тянуть руки в пустоту, в небо, где нет алмазов, где только холодная тьма, прошитая пулями

звёзд, и вздрагивать, завидев в толпе похожий силуэт, обливаясь слезами.  
Поздно. Поздно.



Где ты? Где воды Стиксовы  
твой охраняют покой?  
Там, где тебя настигну я  
и припаду щекой?

Или вот это жалящее,  
запёкшееся в груди —  
и есть твоё обиталище  
последнее на пути?

Твоё запасное вместилище,  
твой выход на этот свет?  
Но знаю душою стынущей,  
что утешения нет.

Снова и снова перечитываю твои поздравительные открытки:



"А вот и светлый день рожденья —  
прекрасный новый день весны!  
Пусть никакие сожаленья  
не омрачат ни явь, ни сны.

Пусть не ударят беды в спину,  
печали сердце не сомнут,  
успех и счастье — не покинут,  
друзья и жизнь — не подведут.

Не говори, что мир печален,  
не утверждай, что трудно жить.  
Умей среди жизненных развалин  
смеяться, верить и любить!"

Пробовала — не получается. *"Только в творчестве истинная радость, всё остальное прах и суета"*, — писал мне ты. И в этом уже нет для меня прежней радости. Ведь ты её со мной уже не поделишь. *"Один из последних романтиков уходящего века"*, — подписал ты свою последнюю новогоднюю открытку. И ушёл вместе с этим веком — в никуда. "Мисюсь, где ты?"

Твои трогательно-неуклюжие строчки, которые ты положил мне под видом записки на творческом вечере: *"Наташе! — Что ты прекрасна, ясно это. Мы все из света и из тьмы. Но ты из одного лишь света, прекрасный дар моей мечты!"* Знал бы ты, какой мрак там у меня сейчас. Мрак и холод.

В альбоме старом дремлет времечко,  
где каждым мигом дорожу.  
Ещё я маленькая девочка,  
и за руку тебя держу.

Дрожу над этой фотографией,  
где я ещё пока твоя,  
и где на фоне печки кафельной —  
вся наша целая семья.

И в доме мирный был уклад ещё,  
ещё церковей не пел хорал,  
и незнакомо было кладбище:  
никто ещё не умирал.



Недавно мне приснился сон. Как мы идём с ним по переулку, заходим в арку на Первой дачной, за углом гастронома, — я знаю, что он тут временно, что он сейчас уйдёт, насовсем уйдёт, и тороплюсь, силюсь сказать ему самое важное, но что-то мешает, не даёт, какая-то ложная стыдливость, скованность, которая никогда не давала мне сказать ему нежные слова, обнять, так с годами всё это сдерживалось, не пускалось, пока не заостенело, а тут вдруг отпустило, и я, тихонько прислонясь к плечу — почти физически помню шероховатость его пиджака, — спрятав лицо у него на груди, выдохнула, как будто что-то само сказалось за меня: "Не представляю, как я буду без тебя. Я не могу без тебя".

Я не помню, что он ответил и ответил ли что-то, я тут же проснулась. Щёки были мокры от слёз, и помню первую мысль при пробуждении: "Слава Богу, я успела, сказала, он знает теперь". И тут же — вторая, пронзившая острой болью: "Боже мой, это же только сон!" Я плакала беззвучно и бессильно, и тут откуда-то накатила застаревшая зубная боль, но так сильно болел тот сон внутри, что на неё уже было наплевать. Мучила мысль, что я никогда ему уже

этого не скажу, что он никогда не узнает. Но, может быть, как-нибудь всё же... какую-нибудь лазейку, щёлочку, незамеченный чёрный ход туда, в тот год, в тот день... Может быть, через сон, или если там, на могиле сказать... нет, написать и просунуть ему туда, закопать... Я не знаю, как, но он должен узнать, что я люблю его, что всегда любила, я не могу жить с этим грузом невысказанности, невыплаканности у него на плече!

Нежность держала всегда в чёрном теле.  
Не обняла, не поцеловала ни разу.  
А теперь держусь без тебя еле-еле  
и тоску глушу в себе, как заразу.

А теперь неотданное объятие душит,  
радугой висит над моей головою.  
Послушай мою наболевшую душу,  
как она по ночам по-собачьи воеет.

Я тебя обнимаю сквозь все преграды,  
сквозь все утраты, года, столетья.  
Как была бы тебе я безумно рада,  
если б встретились на том свете.

\*\*\*

Ночь чернеет неизвестностью в окно.  
Мы с тобой не говорили так давно.  
И листочки, что печатал ты в тиши —  
кладезь мудрости, заботы и души,

так давно ты мне уже не приносил.  
Тосковать и вспоминать уже нет сил.  
Как случилось, почему же так, родной?  
Это я, всему лишь я тому виной.

Над балконом кружат стаями стрижи...  
Я люблю тебя, что делать мне, скажи?!  
Как вернуть, и досказать, и долюбить,  
как себя или тоску в себе убить?

Ты на снимке незаметно улыбнись.  
Ты из детства мне явись или приснись.  
А в мою уже навеки влиты кровь  
твой шахматы, и Волга, и любовь...



Перечитывала "Реквиемы" Петрушевской. Один из них, самый трагичный, заканчивался счастливо: "...и фразу "я люблю тебя" она всё-таки успела ему сказать — без слов, уже мёртвая, но успела". Я не успела. Она молоточком будет всегда стучать у меня в висках, сверлить зубной болью в сердце, рваться наружу, раздирая внутренности.

Ветер или ты листы колышишь?  
Пробирает медленная дрожь.  
Почему-то знаю, что услышишь.  
Как-нибудь по-своему прочтёшь.

Нет тебя давно у нас в квартире.  
Где же в этом мире ты теперь?  
Каждый вторник, как пробыёт четыре,  
по привычке я смотрю на дверь.

Как наш Денди прыгал, обезумев,  
в нетерпенье свёрток теребя!  
Ты ещё не знаешь: Дендик умер.  
Ровно через год после тебя.

Стало страшно выходить из комнат, —  
вдруг споткнусь неожиданно при ходьбе:  
кто-то обязательно напомнит  
мне тебя на улице в толпе.

Твои книжки выстроились ровно,  
говорят со мной наперебой.

Детские стишки мои, любовно  
все переплетённые тобой.

Письма, и статьи твои, и речи —  
не волнуйся, всё сохранено.  
Я лишь в ожидании нашей встречи  
поняла, что мы с тобой — одно.

Ты приснишься мне на день рожденья?  
В небе ковш изогнут, как вопрос.  
И твоё реальное виденье  
проступает сквозь завесу слёз.

Из кривых и прыгающих строчек  
словно перекидывая мост,  
вижу твой замысловатый росчерк,  
вижу руку с родинками звёзд.

О тебе узнаю всё из сна я.  
Как тебе в обители иной?  
Я тебя ничуть не вспоминаю,  
просто ты по-прежнему со мной.

"С течением дней я стану одной", — пишет Евтушенко. Пронзительная истина слов искупает их нарочитую неправильность. С каждой утратой меня всё меньше и меньше. В какой-то момент ощущаешь, что в мире теней больше любимых тобой людей, чем среди тех, кто рядом, и что они нужнее тебе, как ты была им когда-то. Ты жила в тёплом кольце близких душ, дружеских рук, любящих глаз, и это казалось привычным, незаметным, самособойразумеющимся, порой мешавшим и раздражавшим, как тесная одежда. Но вот они выбывают по одному, и ты почти физически ощущаешь эту зияющую воронку в твоём мире, которую не забросать никакими словами и стихами, эту брешь, сквозь которую врывается в душу чёрный сквозняк небытия. И холодно стоять на ледяном ветру, и нечем укрыться.

Мне снились фотографии отца,  
которых я ни разу не видала.  
держала альбом у моего лица,  
он всё листал, листал его устало.

Вот он младенец. Вот он молодой.  
А вот за две недели до больницы....

Шли фотоснимки плавной чередой,  
и заполнялись чистые страницы.

Вот с мамою на лавочке весной.  
как на него тогда она глядела!  
Вот лестница с такою крутизной,  
что на неё взобраться было — дело.

Но ведь давно уж нет того крыльца...  
И вдруг в душе догадка шевельнулась:  
"Так смерти нет?" — спросила я отца.  
Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась.